

Александр Генис
Трикотаж.
Обратный адрес



Содержание

ТРИКОТАЖ

БАБУШКА	11
КОЛЯ	24
СУББОТНИК	36
АТЕИСТЫ	50
ТАБЛЕТКА ОТ ТАНКОВ	66
ВЕСТИ С МАРСА	79
МАУГЛИ	92
САЛАТ ОЛИВЬЕ	104
ПУРИМ	116
<i>DEUS EX MACHINA</i>	127

ОБРАТНЫЙ АДРЕС

ЯНТАРНЫЙ ТРАКТОР

1. ЕВБАЗ, <i>или</i> ТРИ СЕСТРЫ	143
2. ЛУГАНСК, <i>или</i> ТЕНИ ЗАБЫТЫХ ПРЕДКОВ	154
3. ЛУГАНСК, <i>или</i> ОККУПАЦИЯ	165

4. РЯЗАНЬ, или СОБЛАЗН ПРОВИНЦИИ	177
5. СУВОРОВА, 8, или СОСЕДИ	188
6. ВИСВАЛЖУ, или МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ	200
7. ЮРМАЛА, или КАНИКУЛЫ	210
8. ЗАМОК, или БОГЕМА	220
9. САЛАСПИЛС, или РИСУНКИ НА ПОЛЯХ	231
10. КОЛОНИЯ ЛАПИНЯ, или О ЧЕМ МЫ ПИЛИ	241
11. КГБ, или ГЕДОНИСТЫ	251
12. ВОКЗАЛ, или АУТОДАФЕ	261
13. КРЫМ, или ВДОГОНКУ НЕ НАЦЕЛУЕШЬСЯ	271
14. ЛИМБ, или ОТКАЗНИКИ	281
15. БРЕСТ, или ДОЛГОЕ ПРОЩАНИЕ	292

АМЕРИКА

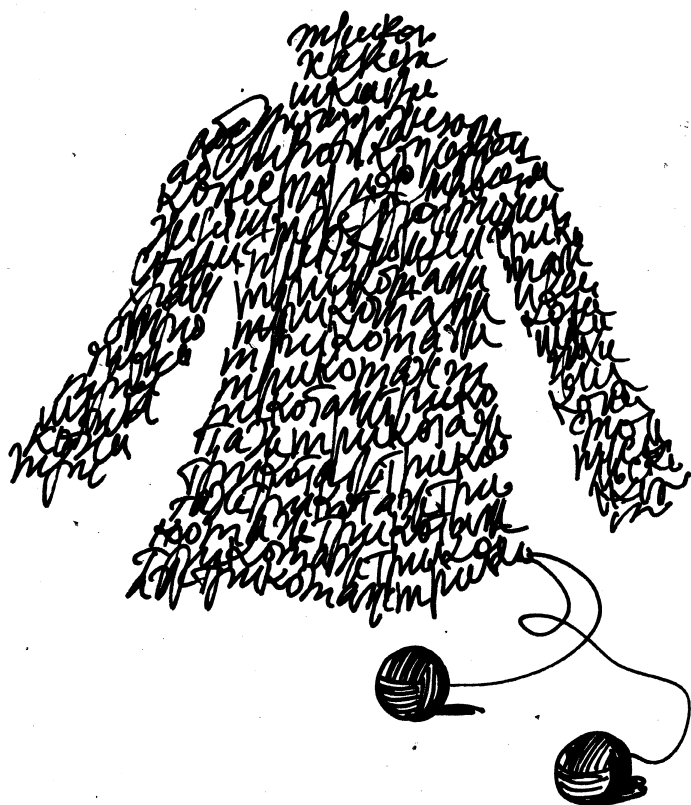
16. ВЕНА, или ОБМОРОК	305
17. РИМ, или ОТ СЕБЯ НЕ УБЕЖИШЬ	315
18. БРОДВЕЙ, или КВН	326
19. БРУКЛИН, или В ТАМБУРЕ	336
20. “НОВОЕ РУССКОЕ СЛОВО”, или СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС	345
21. ПАРИЖ, или ПИЛИГРИМЫ	356
22. ТАЙМС-СКВЕР, 1, или НОВЫЕ АМЕРИКАНЦЫ	366
23. “НОВЫЙ АМЕРИКАНЕЦ”, или СКЛОКИ	376
24. КЛОЙСТЕРС, или МНЕ ТРИДЦАТЬ ЛЕТ	386
25. ВЕРНИСАЖ, или ПРИЗРАКИ	396
26. “СВОБОДА”, или РИТОРИКА	407

27. РУССКАЯ УЛИЦА, <i>или</i> АМЕРИКАНА	417
28. РОДИНА, <i>или</i> ПУШКИН	428
29. РОДИНА, <i>или</i> БОРЩ	441

ТРЕТИЙ БЕРЕГ

30. БРАЙТОН-БИЧ, <i>или</i> ГОСТИ	455
31. МОСКВА, <i>или</i> В ГОСТЯХ	466
32. СПБ, <i>или</i> ПОСЛЕ БАЛА	477
33. НОЕВ КОВЧЕГ, <i>или</i> СЕМЕЙНОЕ	488
34. ГАРЛЕМ, <i>или</i> УТРАЧЕНО В ПЕРЕВОДЕ	499
35. НИРВАНА, <i>или</i> КРИЗИС ЗРЕЛОСТИ	509
36. БЛИЗНЕЦЫ, <i>или</i> 9 /11	520
37. ЛОНГ-АЙЛЕНД, <i>или</i> СТАРОСТЬ	531
38. ГЛОБУС, <i>или</i> МЕТЕМПСИХОЗ	541
39. ЛЕС, <i>или</i> РУТИНА	552
40. УЛИЦА ДОВЛАТОВА, <i>или</i> НЕКРОЛОГ	562

ТРИКОТАЖ



БАБУШКА

Посвящается Д. Рамаданской

Я заплакал, когда она умерла, хотя в ее возрасте трудно было сделать что-нибудь умнее. Как только это случилось, начались сны. Я знал, что мне от них не отделаться, пока не напишу все, что о ней помню.

Я привык относиться к своему подсознанию снисходительно, как к разжиревшей таксе. Слепое и глухое, оно почти ничего не знает об окружающем. Из всех органов чувств у него одна интуиция. Она доносит ему, что происходит снаружи, но сведения эти приблизительны и недостоверны. На все оно реагирует невпопад и путая. Больше непонятливости меня раздражает его медлительность. С женой оно познакомилось лет через пять, с сыном — года через два, о коте — до сих пор не знает. Зато на смерть отзывается мгновенно, и покойники оказываются в моих снах быстрее, чем в могиле. Видимо, о смерти оно знает больше моего. Оно ведь еще не совсем ро-

дилось. Одной ногой, эдакой необутой амебной ложноножкой, оно еще по ту сторону.

Во сне больше всего хлопот доставляют местоимения. Никогда не уверен, что говоришь от первого лица. Когда мы переехали в населенный азиатами городок, мне стали сниться японки в распахнутых кимоно. Для моего простодушного, как пельмени, подсознания репертуар был чересчур эксцентричным, и я решил, что на новом месте мне снятся чужие сны.

Первый раз бабушка появилась на вокзале. Мы проводили ее в Луганск — она ездила туда к своей маме. Во сне бабушка брела по перрону, становясь все меньше. Тут пошел дождь, и она спряталась под бетонный козырек газетного киоска. Он скрыл ее целиком — ростом бабушка была с двухлетнюю девочку.

Ее маму я немного помню. На ней было платье с блеклыми цветами, и называть ее следовало тоже бабушка — чтобы не подчеркивать возраст. Она родилась в деревне Михайловка, никогда не служила, семью держала в страхе. Обе дочери, сами уже старухи, проводили с ней каждое лето. У нас она не открывала рта — ее озадачивало меню. В их южном краю всегда ели борщ. Его варили из всего, что попадется под руку: мяса, грибов, утки. Борщ никогда не кончался. Он плавно перетекал из одного в другой, даже кастрюля не мылась.

Пока я пишу эти строчки, вокруг скамейки бегают бурундуки. День теплый, но осень уже поздняя, и он

носится, не обращая на меня внимания. Я для него слишком неповоротлив — и как угроза, и как конкурент. Бурундук живет в другом режиме, опережая меня не только в беге, но и в неподвижности. Это выяснилось, когда весной мы грелись с ним на солнце. Но сейчас дело идет к зиме, и он вкалывает, как персонаж ненаписанной басни. Возле норы желуди кончились, и ему приходится описывать всё более широкие круги. Возвращаясь, он часто встает во весь рост, чтобы узнать окрестности. Став одной из них, я боюсь уйти и лишить его примет.

Борщ бродит и по моим жилам. Когда я был еще без зубов, бабушка научила меня сосать смоченную в борще салфетку. Так она воевала с сомнительной наследственностью. В Луганске бабушка рассказывала, что у нас борщ едят не всегда. Однажды она даже сварила своим бульон, но никто не смог его есть.

Борщ — огород в тарелке, а тут голая курица плавает — как утопленница. Эта палаческая простота внушила им отвращение, и бульон вылили в выгребную яму. А ведь родня моя отличалась крестьянской скупостью. Все покупное бабушка ценила больше себя. Любая механическая вещь казалась ей бесценной. Например — будильник, одна из ее немногих самостоятельных покупок. Он ей был совсем не нужен. Она никогда никуда не торопилась. В школу бабушка ходила меньше года — от задач она плакала. Когда-то бабушка работала на фабрике, но и там не научилась приходить по гудку. И все же бесполезный будильник она любила, как кошку. Когда дело дохо-

дило до битья посуды, бабушка уносила его в свою каморку, чтобы вместе переждать бурю.

Ну всё, бурундук утихомирился в норе — до апреля у него мертвый сезон. Мне тоже пора — отсчитывать круто уходящие вниз ступеньки. Девять: нога на крепкой доске. Восемь. Всеё еще широко, но носок висает. Семь, шесть. Стертая покатошь. Пять — уже боком. Четыре, три, два. Чтобы выдержать паузу, надо вжаться в черную сырость стены. Два, вздох, один. Приехали.

На этот раз лес почти зеленый. Стволы угадываются по аккуратным загогулинам листвы. Хвойные вдаль: палки с небрежными щетками. Но тропа очень реалистическая. Юлит, не показывая, куда ведет, и корни цепляются, как настоящие. Идти надо долго, и это трудно — как стоять зажмурившись. Ведь нужно держать в голове весь пейзаж, даже тот, что сзади. От усталости торопишь события, вытягивая шею шагов на десять.

Впереди открывается пруд. Черный, с кувшинками — лесной Стикс. Смахивает на Васнецова, но я делаю вид, что не узнаю. У берега сучок плывет против ветра. Значит черепаха, видимо, Харон. Прыгнул на панцирь, сжался, как воробей, и уже на другом берегу. Там ствол развален вроде шатра. Внутри темно, из мрака появляется сундук. Не оригинально. Тем более что я его узнал. Тут не видно, но он громадный, темно-зеленый. Сколочен из чего-то военного. Стоял у нас на антресолях. В нем лежали ненужные (как странно) игрушки. Сундук растаял, осталась книжка-лилипут, сшитая из промокательной бумаги.

Перьечистка! Она чистит копеечные перья для деревянных ручек. Их макают в чернильницы-невыливайки. Но это одно название, на самом деле всегда выливаются, поэтому их носят в специальных мешочках: завтрак для чернильных эльфов, скорее — троллей, мерзкие твари. Расщепом перья цепляют набухшие бумажные волокна. Вот их-то и обтирают страницей-промокашкой. Физиология письма. Туалетная бумага тетради. Сомнительный дар. На что он мне? А я ей? Может, она считает себя книгой и ждет, когда ее прочтут? Но там одни отходы производства — чернильная слизь, оставшаяся от написанных слов. А может, это — чудо? Претворение духа в тело, пусть и грязное.

И все же зачем я ей? Сидит, ждет. Нахохлилась, листочками дрожит, лиловый ежик. Шершавая мазохистка. Ей нравится, когда перья вытирают об нее ноги. Для нормальной книги в ней многовато тактильности. Противная, мурашки от нее, как от мела по доске (плохого окаменевшего, а не жирного болгарского, который наши профессорши приносили с собой в сумке). Ага, вот и резюме: вспоминай, что колется. Теперь можно обратно. Но это быстро: раз-два — наверху. Здесь столько лишнего, что даже мутит, но с этим быстро свыкаешься, если не оборачиваться слишком резко. Главное — добыча: перьечистка из оставшегося от переезда ящика защитного цвета с угловатой надписью “верх”.

Когда-то мы жили в Рязани. Я даже там родился, но ничего не помню, кроме проходного двора. Куда он вел, мне уже не узнать.

Handwritten text in a dense, cursive script, likely a form of shorthand or a specific dialect. The text is arranged in two main columns, with a central silhouette of a person standing between them. The script is highly stylized and difficult to decipher.



Handwritten text at the bottom of the page, appearing as a trail or path leading from the silhouette. The text is written in a similar cursive style to the main body of text.

От Рязани у меня осталась бабушка, которую мы так и звали: “рязанская”, чтобы отличать от другой — “киевской”. В сущности, они обе были из Киева. Их даже звали одинаково — Аннами. Одну — Анна Соломоновна, другую — Анна Григорьевна. Разделяла их национальность и улица Чкалова.

Еврейская бабушка жила в маленьком доме, русская — в большом. Черном, уродливом. Я плохо понимал его устройство. Знаю только, что кухонные окна выходили во двор. Как только мужья уходили на завод, жены затевали котлеты. Мясорубок еще не было, и фарш рубили секачом. Канонада доверху наполняла каменный колодец.

Все это было в 1930-е годы. Маленьким я любил это время и хотел в нем жить. Из 1930-х к нам дошла узорчатая скатерть с бахромой, скорее — ковер-самолет, чем самобранка. Долго я не верил, что бывают вещи красивее.

Теперь мне кажется, что тогда все мужчины походили на Булгакова, а женщины — на Цветаеву. Дедушка на фотографии — вылитый Булгаков: редкие волосы, пристежной воротничок. Зато бабушка — украинская Кармен. Черные волосы до колен, белое, как у панночки, лицо, дикие широко расставленные глаза. Я видел такие на снимке: африканский буйвол перед атакой. У него были бабушкины глаза — бесстрашные до сумасшествия. Она никогда не сдавалась.

— Вы — кремень, а я — булат, — говорила бабушка моему отцу, путая незнакомые пословицы. Тем не менее в этом что-то было. После войны отец тор-

говал камешками для зажигалок. Делали их, насколько я понимаю, из кремня.

До семнадцати дед не умел читать, но в конце концов закончил рабфак, работал инженером, играл в преферанс. Он родился в румынском городе Браилов и звали его Филипп Флоре, но бабушка упорно считал его, как всех хороших людей, русским. Тем более что в Луганске дедушкина фамилия стала Бузинов. В анкете спрашивалось: “Як твоє прізвище?” Не зная украинского, он написал детскую кличку — “Бузина”. В 1938-м дедушку расстреляли — как румынского шпиона.

Сегодня река вынесла на берег борт корабля. Судя по еле заметному изгибу, целое судно было гигантским — ковчег. От странствий кожу его покрыла жемчужная сыпь ракушек. Непонятно: состарился он за работой или лежа на дне. Доски пригнаны так, что между ними не влезает грифель карандаша. Завидная работа. Соединять части труднее всего. Знатоки женского тела, объяснял мне скульптор, следят, чтобы не было швов между верхом и низом. На суше корабельный остов несуразен, как выброшенный кит. Я видел такого на Рижском взморье. Он был напрочь лишен формы. Особенно после того, как тушу искромсали набежавшие из Слоки цыгане.

Мне нравится жить у реки. Жирно поблескивающая рябь мешает воде отражать. Не минеральное стекло, а живая ткань — влажный эпителий. Его плотно расписано узорами — темные разводы, блестя-